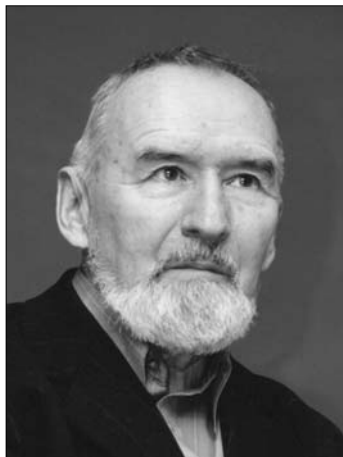


ЮРИЙ ЛЕОНОВ



НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ

ТРИ РАССКАЗА

ЛЕШЕВА ДУДКА

Архипова поймали в трёх метрах от колючей проволоки, когда он уже полз назад. Конопатому ефрейтору наверняка впервые выпала такая удача — задержать преступника. Голос его звенел, а палец так и прыгал на спусковом крючке.

— Руки вверх!

— Чего орёшь-то? Не глухой.

— Руки!

Опасливо приглядывая за дулом карабина, он поднялся с травы, пахучей и ещё не колкой. Нарочно ссутулился, обозначив живот и вислые плечи. Но эта старческая уловка лишь усугубила подозрение:

— Ни с места!

— Да ты что?..

Ефрейтор щёлкнул затвором. Такой и застрелить может, запросто, — токсливо подумал Архипов, глядя в непримиримо сжатые тонкие губы.

— Ты послушай, зачем....

Ефрейтор поднял карабин и выстрелил, вызывая наряд.

Тихо-тихо стало окрест. Пахло черёмухой. Терпко, до одури, томительно, до боли пахло цветущей черёмухой. Невдалеке очнулась синица. Цвिकнула

ЛЕОНОВ Юрий Николаевич родился в Свердловске в 1932 году. Окончил Уральский государственный университет и Высшие сценарные курсы. С 1974 года по 1981 год работал в журнале "Наши современники". Автор 10 книг прозы, в том числе "Люди как люди", "Жёлуди для красной конницы". Член Союза писателей России. Лауреат премии имени Андрея Платонова. Живёт в Москве и в Рязанской области.

неуверенно и замолкла. Картаво отозвался пересмешник дрозд. И покати́лась окрест, оживая, тихая звень.

— Шпиона поймал, да? — свирепая, спросил Архипов. — Диверсанта, да?.. Ну, веди, веди!..

— Там разберутся.

— Тьфу! — в сердцах сплюнул Архипов.

Среди гомона и свиста опушки леса голос этого соловья он тотчас приметил чутким ухом. Мелодичная, с вариациями трель заворожила его. Архипов стал считать рулады певца. Волнуясь, сбился со счёта и, матюкнувшись, начал считать снова. Выходило четырнадцать колен. Знаменитая “лешева дудка”.

“Не может быть! — не поверил он себе. — Здесь таких не летает”. Но вот же он, серый комочек, едва заметный в зелени обломанного куста сирени.

Когда соловей вновь щегольнул залихватской, раскатистой трелью, у Архипова заклинило дыхание. Снова вспомнился давнишний наказ деда: “В упоении призывного клича соловей бывает слеп и глух. Тут его и бери”.

Оступившись и снова замерев, Архипов выдохнул чуть ли не вслух: “Ну, полно, полно! Сейчас мы тебя, приятель!..” Только подкравшись совсем близко, он заметил перечеркнувшую проход колючую проволоку. Ну, надо же, такое свинство! За преградой, всего в каких-нибудь двух шагах беспечно насвистывал маэстро.

Раздумывал Архипов недолго. Да плевать! Какие тут, на окраине, секреты! Приподнять едва тронутую ржавчиной колючку и подпереть её кражистым суком не составляло труда. И он по-пластунски, как учили в армии, бесшумно пролез под проволокой.

Когда полз обратно с клеткой, представлял, как обрадует дочку своей удачей. Небось, запрыгает от радости... Хотя какие там прыжки в её положении?..

Окрик прозвучал оглушительно, словно выстрел.

Припалгал прапор, браваый детина. Он сразу поглянулся Архипову сдержанностью своей. Не кричал, не грозился, словно не впервой ему было хомутать лазутчиков. Спокойно выслушал рапорт, короткий, как автоматная очередь. Щурясь от солнца, заглянул в корзину, пропахшую муравьиными яйцами. На дне её ивовых сплетений угадывался серый комок.

— Вы человек культурный, — начал объясняться Архипов. — Скажите, может ли пенсионер в почтенных летах заниматься диверсией?

— Маленькое неудобство, папаша. Прошу извинить. — Прапор достал из кармана чёрную повязку. О назначении её Архипов догадался не сразу. А поняв, горько поджал губы. Ему завязали глаза.

Пока шли, было у Архипова время обозвать себя всякими словесами за допущенную промашку. Как же он, опытный птицелов, мог выдать своё присутствие на запретной зоне? Совсем оборзел от удачи?.. Всего-то оставалось до свободы — рукой подать. А там — хоть пляши.

Такого редкого соловья Архипову впервые удалось поймать. Продать его — и сразу все проблемы с дочкой исчезнут. Первенец у неё родился, а денег нет даже на коляску.

Комната, в которой с Архипова сняли повязку, блистала чистотой. Аккуратно обшитые вагонкой стены пятнали броские квадраты наглядной агитации. Квадратный стол, скамья. И больше в ней ничего лишнего. За столом — молодой, лобастый, со щегольским блеском командирских часов начальник. Усталый взгляд серых, с прищуром глаз бегло пробежал по Архипову, задержавшись на заботливо пришитой заплате штормовки.

Овал лица служивого не претендовал на мужественное обличье. Не хватало ему для виду твёрдого подбородка. Но об этом Архипов подумал позже. А пока встрепенулся, как от окрика:

— Старший лейтенант Осоргин. Документы.

Он перелистал пенсионное удостоверение и недовольно осведомился:

— Всё?.. Ну, повествуйте.

— Да собирался я...

— Вы знали, что здесь запретная зона?

— Конечно.

— И всё-таки проникли сюда?.. Свободен! — кивнул он прапорщику.

— Да соловей сбил с панталыку. Такой голосистый.

Архипов достал из корзины клетку и снял с неё сеть. Птаха засуетилась на жёрдочке, серая невзрачная птица чуть больше воробья.

— И это соловей? — недоверчиво спросил Осоргин.

— Он самый! Но не из рядовых. Маэстро! Обычно здешние соловьи высвистывают до десяти колен. А этот, видать залётный, даёт четырнадцать, знаменитая “лешева дудка”. Так её называют.

— “Лешева дудка”? — усмехнувшись, переспросил Осоргин.

— Ну да! Я ж говорю — маэстро, — затараторил Архипов. Он так увлечённо стал расхваливать пленника, что голос потерял хрипотцу, а на переносице, прокалённой солнцем до цвета ржавчины, разгладились морщины.

— Верю, верю! — прервал его Осоргин. — Но закон есть закон. И согласно уставу караульной службы, вынужден вас огорчить. Незаконное проникновение в запретную зону карается взятием под стражу. Для начала. А там, — он ткнул пальцем в потолок, — раскрутят.

Не очень-то он поверил угрозам служивого. Вроде бы уже минули те времена... Но в справедливость давней поговорки “от сумы да от тюрьмы не зарекайся” веровал и поныне. “Попадёшь на разборку к какому-нибудь карьеристу в погонах, а ему лишнее задержание — ещё одна звёздочка на погоны. Как же — лазутчик, задержан на запретке. Что ещё надо для приговора?.. А может быть, послушал старлей про соловья, и захотелось взять его домой. Для престижа...” Поразмышляв и так, и эдак, петушиться Архипов не стал. Но и пренебречь угрозой не мог.

По вислым плечам Архипова предательски скользнул холодок.

— И что?.. Секир-башка?

— Ну, зачем же так зверски?.. Разберутся сначала, кто вы и откуда.

— Да краснодеревщик я бывший, а ныне пенсионер. Ловлю, стало быть, птиц на продажу.

— Вот и влепят краснодеревщику по первое число, чтоб другим неподводно было шарахаться по запретке.

— Непова-адно. Словечко-то где такое старомодное выловили?

— А у меня матушка филологиня, — с лёгким смущением объяснил Осоргин, слово не пристало командиру иметь родню, столь далёкую от армейской службы.

— Ишь ты! — совсем по-свойски подхватил доверительный тон Архипов. — И фамилия вроде как из бывших?

— Никак нет! — откrestился Осоргин, но тотчас, не удержавшись, и прихвастнул: — Но у прадеда было два Георгия, да поносить не успел. Что было, то было. Присаживайся, Иван Андреевич. В ногах правды нет.

Архипов грузно опустился на отполированную сидельцами скамью. Чуток посидели в раздумье. “Что было, то было”, — повторил про себя Архипов. Мог бы и он прихвастнуть. Кому ещё довелось бы днями околачивать на даче Чурбанова, зятя Брежнева? А он реставрировал там старинную мебель. Да вместе с хозяином и привлечён был Бог знает за какие грехи. Но кому ныне есть дело до какого-то зятяка... Только и слышишь порой: “Зять любит взять!..”

Да, многое было в жизни, и хорошее, и плохое... Но как бы ни тиранили душу вопиющая несправедливость, варварское невежество, презрение и чванство, где-то на доньшке души всё же топорились непокорные ростки надежды.

Она выживала в самые тягостные минуты, хоть голос её был тонок, сродни самым трепетным, вызревшим в ожидании светлых радостей трелей соловья. Не оттого ли он, крестьянский сын, подвластен чарам этой родственной птицы?

— Хорошая у вас мама, — без предисловий огорошил начальника Архипов.

— Да уж...

— Её бы сюда адвокатом.

— У неё своих проблем хватает... Разжалобить меня хочешь?

— Хочу.

— Почти удалось. Только подчинённые меня не поймут. Скажут: “Ну и рассиропился начальник.”

— А кто-то, может, и по-иному рассудит: “А начальник-то наш — Человек!”

Осоргин расхохотался совсем не по уставу. Помолчав, вроде как проявил интерес к птахе:

— Молчит твой маэстро.

— Да разве в неволе заголосишь?

— Ага! А кто ж его заневолит?

— Так пенсия невелика. А ещё и дочка безработная.

— И сколько дадут за него?

— Смотря кто купит. Настоящий любитель, да при деньгах, машины за него не пожалеет.

— Ну, это ты, признайся, подзагнул.

— Есть маленько.

— А может, это вовсе не соловей?

— Обижает, служивый.

Архипов нагнулся к клетке и цвикнул, подражая птичьему свисту. Соловей заёрзал на жёрдочке.

Вспомнилось Архипову, как росистым утром уходили они с дедом за околицу, в урёму, с ловчей снастью. Как учил дед подражать птичьему свисту, так и защёлкал, затрещал на разные голоса.

Соловей замер, прислушиваясь.

— Молчит, шельмец.

— Тебя бы так законопатили в клетку.

— Да уж сидел.

— Ну, так не привыкать, стало быть.

Архипов скривился.

— Извини. Сам напросился. Ты соловья закрепостил. А я тебя взял под стражу. Так что оба вы арестованные по одному делу.

Соловей цвикнул и замолчал.

— О! Слышал? Птаха и та соображает, о чём речь.

Осоргин нагнулся к клетке. Соловей сидел нахохлившись, превратившись под тяжестью неволи в безголосый комок перьев. И такой мрачной безнадегой повеяло от него, что старлей отпрянул от клетки. Чувство, похожее на жалость, коснулось его крылом и разбудило что-то далёкое, раннее.

“Расчувствовался, — одёрнул себя Осоргин. — Людей порой не жалею, а тут какая-то птаха...”

Он покосился на сидящего в такой же понурой позе старика, на заплапу, пришитую заботливыми руками, и почувствовал, как сбило сердце. Кто-то свыше диктовал ему свою волю, и он всё более ощущал, что не может тому противиться.

— А хочешь, я вас обоих отпущу? — неожиданно для самого себя выпалил Осоргин. — Только враз. Ты его отпускаешь, а я — тебя. И оба на свободе.

— Погоди, погоди...

— Чего годить-то? Решай, пока я добрый!

Дверцу клетки Архипов распахнул возле ворот, ведущих на волю. Соловей шагнул на краешек клетки и замер, ещё не веря в происходящее. Остро глянул на птицелова, встряхнулся, словно сбрасывая с себя всю коросту неволи, и пулей юркнул в кусты.

Двое проводили его завистливыми взглядами. Постояли, не торопясь расходиться. И дождались.

Из белой пены черёмух рванула на весь околоток такая торжествующая, такая разудалая звень, что у Архипова дрогнул подбородок. А соловей все чёкал, сбившись со счёта, сколько получилось колен.

— Ликует, стервец, — грустно промолвил Архипов.

— Тебя благодарит, — уточнил Осоргин. — А ты чего не ликуешь?..

НА КРАЮ ОЙКУМЭНЫ

За что приговорён я влачить жалкое существование на этом провонявшем китовой ворванью острове?.. Ну, уволили из газеты с громким приговором: “За политическую незрелость”. Но ведь никто не выселял меня на затерянный в океане остров. Добровольно припёрся.

Сказать бы в оправданье, что за романтикой погнался. Но нет, от притой тоски по неведомому за три года разъездов и шатаний по Сахалину излечился вполне. Так какого рожна заявился сюда “недозревший”?

Седьмые сутки жду парохода. За эти дни привык ко всему: и к тягостности ожиданий, и к дежурным котлетам из языков кашалотов, и к стойким миазмам разделочной площадки... Облазил вроде бы все окрест. Взялся даже на вершину вулкана. Осталось посетить только соседнюю метеостанцию. Но дороги туда асфальтовой пока что не проложили.

“Подремать бы на берегу с закидушкой”, — лениво просочилась мыслишка. Но я прогнал её, не задумываясь. Или иду сегодня, или никогда. Обожравшиеся китовой тревухой мартыны — грузные, неопрятные чайки — провожали меня хриплыми голосами. Будто уговаривали не ходить в непопятку.

Два домика метеостанции, один меньше другого, притулились к подножью сопки. Ни дорог, ни тропинок вокруг. Оттого, очевидно, Старшой встретил меня не как желанного гостя, а с подозрительным прищуром, словно бродягу.

Объяснениям моим он вроде бы поверил, но не совсем. Однако зайти погреться пригласил. В избе только что протопили печь, и ожившие мухи бились о стекло. На стенах лепились вырезки из журналов, напоминавшие о том, что где-то проносится стороной и красивая жизнь. Среди пальм, дворцов и красоток — белым пятном Почётная грамота уважаемому Михаилу Никитовичу за долгую бесперебойную службу.

Хозяин в накинутаой на плечи новенькой, ещё с неоторванным ярлыком телогрейке был сутул, лохмат, с прицелом цепких, много повидавших глаз. В русой бороде запуталась первая седина. Замызганные обшлага рубахи и закопченный чайник с привязанной крышкой выдавали холостяка. Выслушав мои стенанья про ожидание парохода, он сочувственно покивал головой:

— Да, с транспортом у нас туго. Пароход один на весь архипелаг. А в нём все 1200 километров. В хорошую погоду остановится, погудит, пригласая желающих, и те рванут к нему, кто на чём. А в шторм и гудеть не станет. Так мимо и прошмыгнёт...

— И как же тогда выбираться отсюда?

— А зачем тебе выбираться? Койкой обзавёлся на комбинате?.. Вот и радуйся. И живи. До весны всего-то полгода.

— Да уж...

Уточнять не стал, что возле моей койки некуда ступить — развал бутылок, да не простых. На острове сухой закон. Исключение сделали лишь для шампанского. Его и глушат напрапалую не только приезжие.

Сознание того, что застрять здесь надолго вполне реально, зацепило меня не впервой, но чтобы так, с откровенной издёвкой...

— Но ты очень-то не переживай, — глянув на моё расстроенное лицо, вроде бы переменял он настрой. — С китобоями пошущукаешься, и если договоритесь, они тебя ходом доставят на Парамушир. Там тоже китокомбинат. А рядом — и Камчатка.

— Ну, спасибо, утешил.

— У нас так, ежели по-людски... О, Полундра пожаловал! — глянув в окошко, взбодрился Никитыч. — Маркони, связист мой..

Открыв ногой разбухшую от влаги дверь, парень ввалился в избу. Долговязый, одетый не по сезону, в одной тельняшке. Чтоб никаких сомнений не было при знакомстве — моряк.

— Не холодно так-то?

— Да это разве холода...

— Давно с корабля?

— Бичую второй год. А с кем имею честь?..

Замашки у него остались ещё те, портовые.

— Никитыч! — Он чуть ли не распорядился. — Не вижу приготовлений. К нам вроде бы гость пожаловал.

— Не суетись. И знай, сверчок, своё место.

Пошептавшись с хозяином, Полундра ушёл на связь. А мы ещё пообщались.

— Трудная у вас работа. В любую погоду к приборам выходи. А ветры здесь свирепые. Особенно зимой.

— Человек ко всему привыкает. И мы привыкли.

— С Маркони в ладу?

— А я на него особенно не давлю. Каждый сам по себе.

Попытался я расспросить, какими ветрами занесло рязанца в такую даль. А он лишь вспомнил о том, как в десятом классе, среди близких друзей, спел на вечеринке всего два куплета:

*Спасибо Сталину, грузину,
Придел нас всех в резину.*

И на следующий же день пригласили его прокатиться в места весьма отдалённые.

— Ну, надо же! — сорвалось у меня. — И мой Серёга, сосед по парте, за ту же песенку загремел. Правда, не только за неё. В Кирове было дело.

— Не врешь?

— Сам удивляюсь такой... — От волнения не сразу давалось слово.

— Не надо. И так вижу — наш человек, — хлопнул он меня по плечу.

Мы вышли на свежий воздух. За домом, загородившим грядку от северных ветров, цвела картошка. Блёклые соцветия тянулись к свету наперекор всем невзгодам. Обрамляли посадку стрелки лука и нежные листья черемши. Три шага вдоль и шаг в ширину — вот и весь огород, отвоеванный у камнепада.

— Своя, рязанская, — махнул он жилистой рукой, как погладил своих питомцев. — Почва здесь хороша, лёссовая. Да маловато её, и солнца не хватило.

— Сизифов труд.

— В латыни не силен, но разумею, о чём вы, — впервые он обратился на “вы”.

— Не скучаете по Рязани?

— Да как сказать?.. Когда один хозяйствовал, бывало, выйдешь на волю вечером. Тьма кругом. Только звёзды перемигиваются над головой. Кто их столько насеял? Да море ворчит, живое. А ты один на кромке земли, как отщепенец. Один на всю вселенную, с вечностью наедине. Можно и так сказать. Стою, а душа обмирает от всей этой неоглядности, хоть вроде бы и призыв к ней. И лобо, и глухо, и жуть кромешная... Какая уж там Рязань!

Разговор продолжили уже под крышей.

— Не понимает меня народ, и сам себя порой не понимаю. Как прикипел здесь. Почему?.. Люди думают — из-за денег. Но точно — не ради их. Как говорит пословица: “Деньги — это как навоз. Нынче нет, а завтра — воз!” Зовёт меня родня к себе, чего только не обещает. А я, всё испытав, и любовь, и фарт, и измену, прижился здесь, привык. Мне остров стал родным. И кто осудит за это?..

В оконце робко заглянул, проскользнул как бы украдкой и разлёгся вдоль половицы солнечный луч. Очень обрадовался я такому помощнику в съёмках и поспешил к морю. Дикие скалы в пене прибоя так и просились на плёнку. На фоне их я и сфотографировал сотрудников станции. А снимать хотелось ещё и ещё.

Когда вернулся в дом, Никитыч кудесничал за столом, мурлыкая какую-то песенку. На выскобленной до белизны столешнице красовались открытые

банки с говяжьей тушёнкой и килькой в томате да прокопченная до желудёвого цвета, накромсанная ломтями кета. Но не они радовали глаз... В центре стола стояло блюдо с отварным картофелем прямо в кожуре, каждый плод чуть больше фасолины. Обсыпанные зеленью лука и черемши, они впечатляли своим видом больше, чем изысканнейшее из блюд.

— Зачем же так? — не выдержал я. — Им бы ещё расти да расти.

— Через неделю здесь уже ляжет снег. Можешь не сомневаться.

Из какой заначки вынырнула и грохнулась на стол реторта с огненной жидкостью, я не успел приметить. Но с этим сосудом стол приобрёл вполне праздничный вид.

— Онова живём. — пробурчало начальство.

Хлопнула дверь, и восторженный возглас потряс хибару:

— Королевский обед!

— Ну, такой уж королевский? — усомнился Никитыч. Но связист был непреклонен:

— Королевский, королевский! И не спорь!

Выпили по первой за то, чтобы не пересох Тихий океан, и моряки не остались без работы. И завязался мужской разговор, однако не про женщин. Забойщиком его стал Полундра. Не желал он выпить за то, чтобы к берегам Симушира причаливали в будущем красавцы теплоходы с туристами.

— Чего тут смотреть-то? Как есть, так и будут голые скалы.

— И люди без фантазии, вроде тебя.

— Какие ещё фантазии?

Вместо ответа рассказал Никитыч услышанное когда-то от старожилков.

В старые времена захватили у нас японцы Курильские острова. Поплыли знакомиться с новыми землями. Добрались и до Симушира. Голые скалы да чахлая травка, куда ни глянь. Не понравился остров. Только один человек остался при своём мнении. Он купил по дешёвке этот остров и завёз на него мешки с семенами мышиного горошка. Рассыпали повсюду, как приказал. И через год зацвел остров душистыми цветами. Они обсеменились, горошек заполонил остров.

Через год завезли на остров мышей, и они на любимой пище размножились очень быстро. Настало время привезти на остров лисиц. Их тоже ждала вкусная пожива. Быстро разрослось лисицьино племя. И только тогда приехали на остров охотники. Выросшие в безлюдье, звери совсем не боялись приезжих. Лис можно было бить даже палками. Рассказывают, очень богатым стал владелец голого острова.

— И где же те лисы? — спросил Полундра.

— Кое-где тявкают.

— Всё равно картошке здесь не расти, — не унимался радист.

Тут уж настал черёд вмешаться и мне:

— А на той стороне моря, где летом тоже плавают льды, картошку в подвалы тащат мешками.

— Покупную что ли?

— Свою!.. Мойву там в осенний нерест густо выплескивает на берег. Её и жарят, и солят, заготавливают на зиму впрок. А этот умелец тут же, на берегу, давай ямки в гальке копать, в каждую по рыбке, а сверху по картошке, да и засыпал свой клад. Ох, и смеялись над ним в посёлке, и пальцами крутили у виска. А весной, когда оттаяла земля и поселяне только готовились к посадкам на огородах, на берегу студёного Охотского моря раздвинули гальку бодрые ростки картошки. Согревшись около разложившейся рыбки, они готовились дать богатый урожай.

— Отличная идея. Надо попробовать! — воскликнул Никитыч. — А в том, что с материка порой везут много лишнего, ты прав, — кивнул он Полундре. — Вот килькой в томате заполонили все полки в магазине. Своей-то рыбы нет на Курилах ни хвоста? Так считают?.. Или возьми тот же кирпич. Тоннами завозят его. А на Кунашире строят дома из пемзы. Теплые и дешевле обходятся. Ведь пемза — продукт вулканов. А нам ли их занимать?

Выпили за инициативу. Лишь сейчас я почувствовал в настойке некий особенный привкус. А откуда спирт в доме — про то молчок.

— Ну что, клопами припахивает? — заметил мою гримасу хозяин. — Клоповник и есть. Так зовут эту ягоду. Сладкая. Хозяйки из неё варенье варят. А мы настойку сварганили. Пей, не морщись. Здоровее будешь!

Закусить собрался картофелиной. “Фасолина” ускользала от вилки и бегала по тарелке с перепугу, как шальная, пока не ухватил её пальцами. Рязанская чуть горчила, наверное, от кожуры, и припахивала дымком, но я просмаковал её, представив, что повезло съесть редкий деликатес.

— А для туристов я бы ещё про море наше сказал, — как бы продолжал прерванный спор Никитыч. — Не ласковое оно, верно, — самое студёное в Союзе. Но зато первое в мире по запасам краба. И триста видов рыбы в нём — тоже не скинем со счетов, причём каждая третья встречается только здесь...

— Ну хватит, утомил, — недовольно пробурчал Полундра.

— А я тебе ещё скажу, — не унимался Никитыч. — Когда-то греки величали обжитую человеком часть земли Ойкуменой. Красивое словцо. Нравится мне оно. Живучая старина. По нынешним меркам, вся Евразия — Ойкумена, и мы на краю её.

Трудно добираться сюда — не спору. Но каждого непоседу, который появится здесь, я бы награждал памятным значком. А на нём — цепочка Курильской гряды и подпись: “На краю Ойкумены”.

— Ага, чтоб хвастать ходил к девахам, — ввернул Полундра и неожиданно заключил: — Сам-то хвастун известный.

— А ты, салага, молчи да слушай, когда взрослые говорят.

Не промолчал и я:

— Тогда и норвежцы, и французы, да все, кто живёт на краю материка, имеют право на такую надпись.

— А пусть их! — легко уступил чужестранцам свою придумку Никитыч...

Парень вышел покурить, и я с ним, хоть некурящий.

— Жить можно здесь, — словно в оправдание своей упёртости сказал он, едва мы остались одни, — считай, на всём готовом... А о хорошей компании тоскуешь лишь иногда. Зато порой так схватит тоска за горло — не продыхнуть. Хватаю тогда ружьё — и на берег. По бакланам, по чайкам влёт, пока рука не устанет. Вот когда зубы прихватит, тут уж... Помню, штормило. Начальник в отъезде. Заныл коренной, я его чем только не полоסקал, а он только хуже. Ночь, а спать не могу. Вышел к морю — волны в рожу, а я их матом. А они меня снова — хлесть! Как ещё крыл их, о чём вопил, не помню. Охрип...

— Жениться тебе надо, — посоветовал я теми же словами, какими напутствовали меня друзья.

— Нет, не та натура, чтобы заякориться. На судне с боцманом мы дружили. Компанейский мужик был. А помер — три жены шли за его гробом. Все с ребятами... Нет, не хочу.

Переночевал я здесь же, на скрипучей солдатской койке. Похмеляться отказался. Осторожно спустился к морю по скользким плитам. К зубатому крошеву обломков смиренно ластились волны. Пряно пахло квёлой морской капустой. Размытыми призраками толпились окрестные скалы. Отличный кадр. Только рука не поднималась. Хотелось быстрее покинуть этот берег.

Сверху сквозь наволочь тумана прорывались пьяные голоса. Как вдруг рвануло душу слаженное мужское двухголосье:

*Перебиты, поломаны крылья,
Жаркой страстью всю душу свело.
Кокаина серебряной пылью
Все дороги мои замело...*

МОРОК

Из Хабаровска мы улетали с коллегой в солнечное июльское утро. А прилетели в Охотск в хмурый весенний день. Всё вокруг заволочла липкая наволочь. Сквозь неё едва угадывались вершины сопок. В море плавали льды. Но мы не видели их, а только слышали о них по рассказам.

Над побережьем властвовал морок. Так называют здесь гиблое, затяжное ненастье. Было зябко. Только позднее выяснилось, что морок морочит головы не всем, а лишь тем, кто непривычен к здешней погоде.

Доковыляв по скользкой гальке до гостиницы, пропахшей мокрыми портянками, мы не стали дожидаться утра, чтобы убедиться в своей невезухе. До берега было недалеко. Мимо приземистых изб и длинных поленниц дров, заготовленных на долгую зиму, дошлёпали до приплеска.

Возле уреза воды тихо плескались волны. Запах свежего моря брался с духом гниющих водорослей. И мягкой лапой нежно нас обволакивала мгла. Полупрозрачная, полувоздушная, она убаюкивала своей податливой невесомостью.

Командировка накрывалась медным тазом. И сидеть нам здесь, как говорила моя бабушка, “до морковкиного заговенья”. А ведь какие роскошные были планы у редактора киностудии и одного из ведущих кинооператоров! Снять редкое зрелище лова нагульной сельди среди плавающих льдин. А заодно запечатлеть на плёнку виды бывшей столицы Охотоморья и берега, который помнил кличи неутомимых первопроходцев, звоны кандалов, легендарного колодника Соёмонова и самого Витуса Беринга...

Квадратная, кряжистая фигура Ивана Ивановича осунулась перед перспективой завязнуть в этой серягине. Мы уже направились к гостинице, когда некто сверху посочувствовал нам. Порыв ветра приоткрыл занавес, и мы воочию увидели то, о чём мечталось. Горбатые, обкатанные морем льдины, а там, за ними, вдали — неужто плашкоуты и люди?..

Мы переглянулись. О чём было говорить?..

И вот оно, утро. Надежды на бриз не оправдались. Он подул с моря, но был слишком слаб, чтобы разогнать всю эту смуту. Мы презирали её. Настроение было боевое.

Из гостиницы вышли во всеоружии. Иваныч — с “Конвасом”, я — с “ФЭДом”. Знал ведь, как не любят кинооператоры, когда кто-то во время съёмки щёлкает фотоаппаратом рядом. Не только потому, что отвлекает от работы. Но не появится ли позднее соблазн сравнить, у кого получились более выигрышные кадры? Знал и всё же не устоял перед шансом самому запечатлеть экзотику.

По словам старожилов, до тони — сезонной обители рыбаков — было два километра. Но у местных, как известно, свои мерки. Не зря сочинили прибаутку: “Мерили Фёдор и Тарас, да верёвка оборвалась. Фёдор говорит: “Давай свяжем”. А Тарас: “Так скажем!”

Два километра — что за расстояние для ходоков! Но мы стояли на берегу, не двигаясь с места. Ночью был шторм. И там, где вчера шуршала галька, сегодня берег был выстлан сельдяной икрой вперемежку с глянцевыми листьями морской капусты.

К родным охотским берегам стада сельди подходят без очереди. В хорошую погоду всем хватает места отнереститься. Но если начинается шторм, немногие успевают отложить икру на листья ламинарии. В лютую непогоду большинство сельди мечет икру прямо в воду. Остальное довершают волны.

Добраться до тони можно было только берегом. И мы брели то по щиколотку, то по колено в икре, словно чавкая по болоту. Немыслимо было представить, сколько отмирает здесь этой икры. Барханы икры на всём побережье. С ума сойти можно...

В Японии селёдную икру считают символом плодородия. Каждая плывущая на нерест селёдка вымётывает до двухсот тысяч икринок. И житель Страны восходящего солнца считает актом престижа поставить на стол в праздничный день хоть горстку селёдной икры. Банка такого деликате-

са, приготовленная особым способом, стоит в магазинах дороже банки лосо-
севой икры. А мы по ней в сапогах...

Предложил коллеге запечатлеть на плёнке это зрелище. Он отказался, сославшись на закон, запрещающий снимать стихийные бедствия.

— Да сдохли уже эти законы! — взорвался я. — А кадр этот будет для экологов как подарок.

— Цензор всё равно не пропустит. А за перерасход плёнки кто заплатит?

— Я заплачу.

— Ага! Нашёлся богач!

Это был единственный случай за всю командировку, когда коллега не согласился со мной. В расстройстве стал я бросать в воду пригоршни влажной ещё икры. Море брезгливо вернуло эту подачку.

Упёртый кадр этот Иваныч. Поднаторел в словесных баталиях не столько в киностудии, сколько дома. Жена устала уже воспитывать из него трезвенника. Но на съёмках порой способен был увлечься, как ребёнок в игре. Шли вразвалку. Омрачало не только зрелище замора икры, но и мысли о том, что “замор” и “морок” — родня, слова одного корня, от них удачи не жди. Долгими показались эти километры. Но всё же добрались до тони. Венчал её исхлёстанный ветрами барак.

Крутобокая веснушчатая хлопотунья лет тридцати встретила нас, как дорогих гостей. И улыбалась заразительно, и тараторила без умолку:

— Да вы раздевайтесь, присаживайтесь. Как добрались-то в такую погоду?.. А наши все в море. Но придут, придут, не переживайте. А я пока селёдочки вам пожарю. Вкусна-а!

Схватив сачок, подобный тому, с которым ходят рыбаки-поплавочники, она исчезла мгновенно.

Заглянув в тусклое оконце, я увидел зрелище, которого не забыть. Стоя перед набежавшей волной, хлопотунья размахивала сачком. Сунет его в воду и вываливает под ноги селёдку, а то и две. Совсем как продавщица в гипермаркете выхватывает из водоёма толстобрюхих карпов.

Лоснящиеся от жира селёдки приплясывали на артельной сковороде недолго. Но до чего же нежны они были на вкус! Не однажды довелось трапезничать на тонях, но такой вкуснятины не помню. Мы наперебой славили искусство поварихи, а она отбивалась от похвал как могла. Её ли это заслуга? Словоохотливая, наскучившись по общению, она не давала нам рта раскрыть. Рассказывала про дочку, которая учится в интернате на продлёнке, про мужа, уехавшего работать лесорубом.

Про туркмена, приехавшего повидать сына, не редкого здесь сезонника — особый рассказ.

— Торгаш, с Каракумов. Как довёз такую огромную дыню, не представляю. Хватило её на всех. И напоил всех. Еле встали из-за стола. А сам проспал больше суток. Ушёл и долго не возвращался.

В отлив море уходит от мелководья. И вся живность, не успевшая уплыть, трепыхается в мелких лужах: и рыбы, и крабики, и прочая мелюзга. У приезжего от такого зрелища дух захватило. Совсем обалдел. Особенно при виде селёдки, крупной, жирной. Давай руками её хватать да на скалу. Большую кучу натаскал. Вошёл в барак счастливый. Столько селёдки наловил!

— Где она?

Пошёл показать. Скала на месте А всю селёдку слизнула приливная волна. Сначала нервно так хохотнул. Потом стал ругать море.

— Утешаю его, а он всё талдычит да талдычит по-своему.

Иваныч спросил у поварихи, надолго ли такое ненастье.

— Вот Петрович подует и всё разгонит.

— Кто такой?

— Да ветер с Петровской косы.

Пошли мы с Иванычем встречать не то Петровича, не то бригаду. Приехали на ошкуренное волнами бревно. Призрачно дыбились за спинами угрюмые скалы. Морок висел над побережьем. Сквозь завесу его прорывались крики чаек и глупышей. Там правили пиршество. Море, успокоившись, тихо

ворчало, всесильное, неустанно работающее море. А мы, словно сытые туньяды, продолжали ждать милостей от природы.

Не трудно было представить, как выглядели мы с высоты. Две божьих соринки на фоне безбрежья. Случись новый шторм, сорвёт нас с насеста и погонит невесть куда, ибо здесь делать станет нечего.

Я зябко поёжился и усмехнулся.

— Ты чего? — ткнул меня в бок коллега.

— Да так, померещилось.

— Ну-ну! — и весь разговор.

Бригада прорвалась из завесы тумана как-то вдруг. Протопали мимо, едва поздоровавшись, мокрые, усталые, с медвежьей косоплостью отвыкших ходить по земле. Мы не стали досаждать им расспросами.

Утром нас приветствовало солнце. Цвета яичного желтка, оно подмигнуло нам из-за тучи, обещая светлый денёк. Плохо верилось в удачу. Наверняка морок не сгинул, а где-то прячется в расщелинах скал, чтобы устроить нам ещё одну подлянку. Но мы уже были готовы ко всему. Во всяком случае, душа моя велела жить нараспашку.

Мы отплыли в море вместе с рыбаками. Кланяясь волнам и расталкивая носом мелкие ноздреватые льдины, кунгас доставил бригаду к ставным неводам.

— Общий план обязателен, — напутствовал я коллегу.

— Будспок! — отреагировал он, что означало: “Будь спокоен!”

И всё утро Иваныч пританцовывал с камерой по шаткой палубе в поисках удачного ракурса.

Рыбаки перебирали сети, вытряхивая улов в кунгасы — прожорливые баржи. Облепленные сверкающей чешуей, они походили не то на театральные рыцарей, не то на инопланетян. Однако стоило им вернуться на берег, как все они ещё до застолья, от молодых до степенных, обернулись в соскучившихся по женской ласке молчунов и балагуров.

Но это будет потом. А пока, спаянные надёжной хваткой и крыльями сети, они создали звенья цепи. И мне померещилось, что вижу многорукое существо, которое истово кланяется Охотскому, или, как в старину величали, морю Ламскому.

Клонился к полудню день большой рыбы. Кособокие льдины, покачиваясь, хороводили вокруг. А я, отщёлкав кадры и спрятав блокнот в карман ветровки, изображал из себя лоботряса.

Да простит меня море, такого непостоянного!

От души поздравляем нашего постоянного автора с 90-летием!